**Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года**

С. Смит

Соотношение между классовым и национальным самосознанием в русской революции 1917 г. кажется очевидным. Как сказал П.Б. Струве уже в августе 1918 г.: "Это был первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей" [1]. Этот триумф класса над нацией, как мне кажется, придает России исключительный характер не только в сравнении с остальной Европой, где первая мировая война наглядно продемонстрировала глубину и жизнестойкость национальных чувств, но также в сравнении с теми странами, которые впоследствии прошли через опыт коммунистических революций и где антиимпериалистический национализм стал основной движущей силой революционной мобилизации. Однако емкое утверждение Струве может сказать нам все и ничего одновременно. Во-первых, более детальное изучение политики 1917 г. показывает, что соотношение между классовым и национальным самосознанием было неоднозначным и что они не всегда находились в состоянии конфликта. Во-вторых, данное утверждение основывается на традиционном представлении о том, что с конца XIX в. русское национальное сознание было слабым и, соответственно, классовое сознание сильным. Оба эти положения кажутся достаточно проблематичными. Цель моей статьи - проследить взаимосвязь между классовым и национальным сознанием. Для этого я остановлюсь поэтапно на следующих вопросах: во-первых, попытаюсь проследить развитие национализма как политической силы в последние десятилетия существования Российской империи, во-вторых, рассмотрю проблему роста русского национального самосознания в этот же период; далее, слегка затрону проблему возникновения классового сознания в период после революции 1905 года; и в заключение попытаюсь показать многогранный и изменчивый характер отношений между нацией и классом в политике 1917 г. Свою статью я ограничил этнически русским населением, оставив за пределами рассмотрения проблему развития национализма и национального сознания среди нерусских народов.

П.Б. Струве говорит о "национализме" и "национальной идее". Различие в данном случае принципиально. По-моему мнению, национализм как политическая сила был действительно сравнительно слаб среди русского населения в начале XX в.; но вряд ли можно сказать то же о национальном самосознании. Национализм является политической идеологией, которая сводится к принципу, что все нации имеют право на самоопределение, и автономное существование нации подразумевает наличие своего собственного суверенного государства. Концепция "национальной идентификации" (national identity), которая может быть переведена на русский язык как "национальная идея", "народность" или "национальное сознание", рассматривает нацию, используя слова Бенедикта Андерсона, как "воображаемое сообщество", культурное и политическое сообщество, осознаваемое как оформленное в своих границах и суверенное [2]. Национализм представляет собой своего рода политизацию национального сознания, последовательное отстаивание того принципа, что конечная цель "воображаемого сообщества" нации заключается в обретении национального государства. При этом, конечно, различие между национализмом и национальным самосознанием не является абсолютным. Успех национализма частично зависит от силы национального сознания, которое, в свою очередь, подвержено влиянию культурных и политических движений, использующих политический язык нации для преобразования разрозненного населения в единую нацию.

Широко известно утверждение о том, что национализм был слаб в России, поскольку он ассоциировался с защитой социально-политического режима. Я не стану оспаривать это как широкое теоретическое обобщение. Но, в то же время, хочу сказать, что в некоторые периоды русской истории существовали более либеральные и популярные версии национализма и что политические перспективы национализма были не такими уж слабыми, как это зачастую предполагается. Так, например, до обнародования доктрины "официальной народности" национализм ассоциировался с либеральным меньшинством в составе образованной элиты, находившейся под влиянием идей Французской революции и немецкого романтизма. Только под влиянием революции 1848 г. российский национализм вступил на путь защиты самодержавия. В период тринадцатилетнего правления Александра III были предприняты целенаправленные попытки создания более привлекательной версии "официальной народности", что явилось ответом, как я предполагаю, на процесс растущего национального сознания среди населения. Это вызвало переход от концепции империи как многонационального организма к идее "один царь, одна вера, один закон, один язык". Это также получило свое отражение в популяризации империализма посредством панславистской поддержки братьев по крови и религии, находившихся под турецким и австро-венгерским влиянием, а также благодаря политике экспансии в экзотические регионы, имитирующей опыт западно-европейских держав. Однако при том, что русский имперский национализм мог быть гораздо более популярным, чем это допускают его критики, его непосредственная цель - усиление царизма - однозначно провалилась.

Революция 1905 г. обнажила кризис "официальной народности". Принцип самодержавия был ослаблен безвозвратно: многовековой вере в преданность крестьянства был нанесен сокрушительный удар. Революция разрушила уверенность консерваторов в том, что государство может гарантировать их защиту. Одновременно с углублением кризиса доктрины "официальной народности" революция ввела в обиход новую версию национализма и, таким образом, лишила правые партии монополии на владение ею. Октябристы отстаивали национализм, который, базируясь на принципе сильной монархии, в то же время признавал необходимость социальных реформ по подобию западных, как средства обеспечения приоритета общественных интересов перед групповыми. Кадеты, чей национализм приобрел наиболее яркое выражение в связи с внешней политикой, видели в установлении социального порядка и парламентской системы, основанных на законе, средство достижения Россией ее былого влияния. Общественность, заметно активизировавшаяся в результате ослабления цензуры, развития прессы и роста числа общественных и профессиональных организаций, способствовала выработке альтернативных концепций национальной идеи; однако ни одна, за исключением, пожалуй, "черной сотни", не преуспела в завоевании значительной общественной популярности до начала первой мировой войны.

В целом национализм потерпел неудачу. Нежелание самодержавия провести серьезную демократизацию политики, в сочетании с устойчивой ассоциацией национализма с правыми политическими партиями, сократило шансы национализма стать массовой политикой. С социальной точки зрения, слабость среднего класса и огромный разрыв между "верхами" и "низами" не позволили более либеральной версии национальной идеи укрепиться на российской почве. Эта неудача национализма резко контрастирует с опытом Западной Европы, где увеличение электората в конце XIX в. способствовало идентификации общества с нацией и заставило традиционные элиты искать массовую поддержку избирателей. Однако можно подвергнуть сомнению тот факт, что неудача национализма является главной причиной русской революции. Поскольку даже в таких странах, как Германия и Великобритания, где национальные партии завоевывали значительную массовую поддержку, они никогда не получали большинства голосов избирателей. Кажется значительной не столько неудача национализма, сколько очевидная неудача того, что Струве назвал "национальной идеей", а я обозначил как национальная идентификация или национальное самосознание.

Утверждение о том, что национальное самосознание было слабым или в принципе отсутствовало в России, получило выражение в двух вариантах. Во-первых, существует положение о том, что национальное сознание было слабым в силу того, что интеллигенция отреклась от русской национальной идеи. Во-вторых, согласно следующему аргументу, общество было слишком сильно разделено на отдельные местные патриархальные общества (Gemeinchaft), чтобы суметь выработать общее национальное самосознание. Подвергая сомнению правомерность обоих аргументов, я бы хотел высказать предположение, что, хотя национальное сознание и не сформировалось полностью, оно не было столь слабым, как предполагают данные точки зрения.

В.Н. Муравьев, один из авторов нашумевшего сборника "веховского" направления "Из глубины" (1918 г.), усматривал в отречении русской интеллигенции от национальной идеи главную причину Октябрьской революции [3]. Его утверждение, широко разделяемое современниками, сводилось к тому, что интеллигенция отвергла идею нации на том основании, что она была безнадежно скомпрометирована своей связью с царем и православной церковью [4]. Вместо этого интеллигенция восприняла политическое сознание, основанное на либеральных и радикальных ценностях, и после 1848 г. редко прибегала к национальной риторике.

Однако гораздо правомернее утверждать, что интеллигенция отошла не от идеи нации как таковой, а лишь от концепции, отождествляющей нацию с самодержавием. Поэтому, несмотря на то, что сознание интеллигенции находилось в оппозиции к доктрине "официальной народности", оно в то же время базировалось на глубокой любви и заботе о нации. С момента своего рождения в ЗО-е гг. XIX в. интеллигенция рассматривала себя в качестве защитника цивилизации в стране, порабощенной самодержавием, с тяжелым наследием крепостного права и "азиатской" отсталостью. Интеллигенция была глубоко предана идеалу служения народу и созданию единого общества, в котором народ мог бы пользоваться плодами просвещения, знаний, или, иными словами, была предана мечте о создании истинной нации. Это несомненно может считаться формой национального самосознания. Во-вторых, именно интеллигенция пробудила в обществе чувство национальной гордости благодаря своим выдающимся достижениям и деятельности по их популяризации через систему образования. Литература Тургенева, Достоевского или Толстого, музыка "Могучей кучки", искусство "передвижников" - все это служило основой для создания нового представления о том, что значит быть русским, что нашло отражение в изучении прошлого России, ее ландшафтов и национального характера. Таким образом, если вряд ли можно говорить о том, что интеллигенция не имела национального сознания, то какова же была ситуация с простым народом?

Некоторые западные историки категорически утверждают, что простой народ в России не имел национального самосознания. Так, Ричард Пайпс пишет: "Мужик имел слабое представление о принадлежности к русской нации. Он думал о себе не как о русском, а как о "вятском" или "тульском" [5]. Другие, признавая тот факт, что крестьяне считали себя русскими людьми, в то же время утверждают, что они идентифицировали себя большей частью с местом своего рождения, нежели с нацией. Данная система утверждений находится в непосредственной логической связи с такими недавними теориями национализма, как, например, Эрнста Геллнера и Бенедикта Андерсона. Они сводятся к тому, что идентификация с нацией является следствием процесса модернизации; то есть национальное сознание явилось непосредственным результатом развития современных средств коммуникации, массового рынка, урбанизации, процесса усиления влияния государства на население через систему налогов и воинской обязанности и, прежде всего, школьной системы и печатной культуры. Если действительно принять за точку отсчета, что именно эти социальные процессы лежат в основе образования нации как "воображаемого сообщества", то можно сказать, что они лишь частично затронули массу русского крестьянства в конце XIX в. Однако концепция национального сознания как исключительно современного феномена лучше всего применима к тем нациям, которые возникли в XIX и XX вв., к таким, например, как на границах России. В то же время она не вполне отражает опыт таких, так называемых "исторических" наций, как pусские. Не может быть сомнений в том, что русские крестьяне на протяжении нескольких веков осознавали свое русское происхождение главным образом благодаря принадлежности к православной церкви. Они также отдавали себе отчет в том, что многие из их традиций и институтов, таких, как община, являются специфически русскими феноменами. Имели они и представление о русской истории, хотя и в сильно мифологизированном виде получившей отражение в легендах, описывавших такие места, как колодцы, источники, могильные курганы или камни, и повествовавших о войнах, вражеских нашествиях, былинных героях и подвигах. Данное этническое сознание, наряду с патриотизмом, являющимся его эмоциональным дополнением, не соответствует определению национального самосознания в значении, рассмотренном выше. Крестьянство отождествляло себя скорее с отечеством, чем с нацией, точно так же, как царь требовал преданности имперскому государству в большей степени, чем к национальному государству. С другой стороны, сильное осознание этнического отличия, географического положения и истории непосредственно питало национальное сознание, слагающееся как из культурных, так и политических компонентов.

Пример России, как мне кажется, подтверждает тот аргумент Андерсона, что массовая печатная культура, понимаемая как обмен информацией, культурными символами и средствами взаимопонимания между коммерческой литературой и читателями в низших социальных слоях, является решающим фактором для возникновения национального сознания. И хотя признаки этого существовали уже во время войны 1812 г. и войны с Польшей в 1831 г., только после издания Статута об образовании в 1864 г. и появления коммерческой прессы в 70-е гг. XIX в. стал возможным значительный охват читающей аудитории, способной воспринять новые представления о национальной идее. Новая коммерческая пресса прославляла различные аспекты русской истории и культуры, географическое разнообразие и этническую пестроту империи как ключевые черты национальной идентификации. Гордость от сознания просторов и разнообразия империи была лейтмотивом таких журналов, как "Родина", в то время как газета "Голос" под руководством пионера в области коммерческой публицистики А.А.Краевского была типичным проповедником идеи о цивилизационной миссии России в Азии. Появление почтовых открыток в 1872 г. также сыграло определенную роль в популяризации визуального имиджа нации. Увеличение числа культурных и научных организаций, музеев и выставок ускорило формирование концепции национальной идеи, отличной от "официальной народности". Это не означает, что традиционная концепция национального сознания, понимаемая как преданность царю и православной церкви, также не пропагандировалась коммерческой прессой и такими наиболее старомодными средствами, как лубок, балаган и раек. Многие раешники, например, были бывшими солдатами, которые изображали военные подвиги в духе квасного патриотизма. Массовая продукция и карикатуры поддерживали традиционный стереотип о турках и еще более о немцах. Тем не менее принципиальным было то, что массовая печатная культура ввела в обиход многочисленные версии национальной идеи, включая и те, которые скрытым образом ставили под сомнение святость доктрины "официальной народности".

Политическое значение этих новых представлений о национальной идее трудно оценить однозначно. Однако я считаю, что, при прочих равных, существовал потенциал для успешной политики, аппелирующей к идее нации. Этот потенциал был частично реализован во время революции 1905 г., когда политика главным образом определялась лозунгом "общенациональной борьбы", объединившим под своими знаменами освободительное и рабочее движения, либералов и социалистов в стремлении закончить войну с Японией и получить конституцию. В процессе этой борьбы "нация" была определена как включающая всех тех, кто на себе испытал все тяготы бесправия и кто исполнен желания свергнуть самодержавие и завоевать гражданские и политические права. Конечно, разделяющее влияние классового языка стало очевидным к концу года, но следует быть осторожным в изображении политики в жестких классовых категориях, поскольку доминирующими лозунгами были гражданство и свобода, и только годы реакции окончательно похоронили мечту о нации, основанной на стремлении к демократии и свободе.

Период с 1905 по 1917 гг. определялся главным образом выдвижением классовой политики на первый план. Данное событие часто интерпретируется историками как естественный результат развития индустриального капитализма и урбанизации. Однако эти социально-экономические процессы, лежавшие в основе преобразования значительной части мира во второй половине XIX в., не привели к возникновению того типа общественно-политических движений с классовой идеологией, которые получили распространение в царской России. Политическая культура России была особенно восприимчива к классовым дискурсам, будь то в марксистском, народническом или консервативном понимании, так как для нее была характерна пропасть между властью и народом, которая в начале XX в. в переводе на грубый классовый язык выражалась в категориях "низы" - "верхи", "мы" - "они". Исторически взаимоотношение между государством и обществом выражалось в схеме: завоеватель - завоеванный. Власть была активной стороной, организующей и движущей силой, господствующей над пассивным и порабощенным народом. Как писал А.И. Герцен: "С одной стороны, Россия правительственная, богатая, вооруженная не только штыками, но и всеми приказными уловками, взятыми из канцелярий деспотических государств Германии. С другой - Россия бедная, хлебопашенная, трудолюбивая, общинная и демократическая; Россия, безоружная, побежденная без боя" [6]. Поскольку как народники, так и марксисты рассматривали социальную борьбу как политическую, они оказались способными сыграть на традиционной вражде народа по отношению к государству и цензовой России для популяризации классовой политики.

Едва ли нужно говорить о необычайном успехе классовой политики в период с 1905 по 1917 гг. Данное положение является краеугольным камнем советской историографии, хотя она и мифологизировала степень размаха классовой борьбы и пролетарского интернационализма. Тем не менее остается неоспоримым фактом, что слои так называемых "сознательных" рабочих, которые возглавляли забастовки, учреждали профсоюзы и определяли характер рабочего движения, испытывали органическую ненависть к господствующему классу, не имеющую аналогов в Европе. И более широкие слои рабочих испытывали резкое неприятие к действиям со стороны властей, с энтузиазмом реагируя на классовую политику. Однако марксистское положение о том, что верность классу полностью подменила верность нации, является более чем упрощением. Даже среди меньшинства рабочих-марксистов соотношение между классовым и национальным сознанием было неоднозначным. Так, например, читая воспоминания рабочих, ставших впоследствии убежденными большевиками, поражаешься силе их преданности России. Они могли восставать против "варварства, азиатчины, хамства, страшной некультурности", которые, по словам рабочего большевика Шаповалова, были характерны для русского народа, но они поступали так, потому что считали, что русский народ заслуживает лучшей доли [7]. Рабочий Свирский вспоминает: "Моя Родина, моя огромная бескрайняя Родина, кажется мне богатырем с выколотыми глазами. Сильный, мудрый, великодушный, он стоит одиноко в окружении других народов и не трогается со своего места. Он слеп и не знает куда идти" [8]. Иногда такие сознательные рабочие испытывали некий комплекс неполноценности при встречах с более образованными зарубежными представителями своего класса, хотя в глубине души и гордились тем, что они русские. Рабочий Шаповалов был возмущен тем фактом, что иностранные рабочие смотрят сверху вниз на русских, и отметил, что снобизм абсолютно чужд русскому национальному характеру [9]. Рабочего Канатчикова оттолкнула холодность зарубежных рабочих, их неспособность выражать свои эмоции так же естественно, как это делают русские [10]. Фролов противопоставил открытость и искренность русских людей притворству и двуличию иностранцев [11]. Эта вера в простоту и честность русского народа явилась своего рода составным элементом русского национального сознания, хотя и разделялась наиболее консервативными представителями национальной идеи.

Успех классовой политики мог разрушить перспективы массового национализма перед первой мировой войной. Hо начало войны в 1914 г. обнаружило существование глубокого патриотизма даже в рабочей среде, а также тот факт, что классовое сознание в сравнении с национальным является продуктом лишь недавнего времени. В период с 1912 по 1914 гг. среднее число участвующих в забастовках приблизилось к двум третям от всей заводской рабочей силы. Однако начало войны вызвало почти полное прекращение забастовок. Частично это было вызвано серьезными попытками властей подавить социальный взрыв, но это также свидетельствует о многочисленных и неоднозначных симпатиях рабочих. Война вызвала резкий подъем патриотических чувств. Анализируя характер почтовых открыток, плакатов, журналов, лубков и кинематографа, Губертус Ян обнаружил общность патриотических чувств среди различных классов, а также между элитарной и массовой культурой, отразившуюся в пасквилях на кайзера, интересе к военной технологии, героических изображениях сражений и создании аллегорических образов России. Он показал, однако, что этот относительно консервативный тип патриотизма не испытывал подобного энтузиазма к личности Николая II. Большинство русских не считало себя лояльными субъектами империи: их преданность была по отношению к родине и выражалась в гордости за выдающихся представителей русской культуры, известных генералов и славное военное прошлое [12]. Когда же ситуация на фронте изменилась к худшему, интерес к патриотической пропаганде резко упал. Социальный союз против внешнего врага развалился, в то время как социальная критика заняла место нападок на кайзера в эстрадных спектаклях и карикатурах. К 1916 г. уровень забастовок приблизился к довоенному, и в январе-феврале 1917 г. в политических забастовках участвовало больше рабочих, чем в 1913 г.

Непосредственным результатом Февральской революции был взрыв ура-патриотизма и пересмотр представлений о русской нации. За одну ночь Святая Русь превратилась в революционную Россию. Освободившись от тяжелых цепей царского рабства, русский народ испытал второе рождение. Комментируя отречение от престола Николая II, газета "Копейка" заявила: "Господа Романовы, управлявшие Россией, не будучи русскими людьми ни по духу, ни по крови, всегда были в тайном союзе с немцами и поэтому всегда стремились держать великий русский народ в рабстве" [13]. Лидеры Временного правительства воззвали к живым силам народа объединиться для создания свободной демократической России. Подобно деятелям Француской революции 1789 г., они видели свою задачу в раскрепощении духовных сил народа с целью создания сильной нации. Крестьяне в особенности должны были быть выведены из состояния культурной изоляции и превращены в активных граждан.

Тем не менее с самого начала двоевластие символизировало ту пропасть, которая разделила новую нацию на Россию собственников и Россию трудового народа. И даже в момент наибольшего национального единства существовали различные представления о нации. В своем первом заявлении, приветствующем Временное правительство, кадеты провозгласили: "Граждане, доверьтесь этой власти все до единого, соедините ваши усилия, дайте созданному Государственной думой правительству совершить великое дело освобождения России от врага внешнего и водворения в стране мира внутреннего, основанного на началах права, равенства и свободы... Да будут забыты в стране все различия партий, классов, сословий и национальностей. Да воспрянет в великом порыве единый русский народ и создаст условия мирного существования всех граждан" [14]. Кадеты рассматривали Февральскую революцию не как политическую, а как социальную революцию, целями которой были победа в войне и обеспечение парламентской политической системы, основанной на частной собственности. Их упор на ликвидацию социальных различий находился в соответствии с их стремлением представить свою партию выразительницей идей надклассовости и государственности. В отличие от кадетов, умеренные социалистические лидеры Исполнительного Комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов признавали существование социальных различий, не разделяя пристрастия кадетов к идее государственности. В их понимании нацией являлась революционная демократия, основанная на союзе классов, включавшем наряду с буржуазией мелкую буржуазию и рабочий класс, т.е. те классы, которые внесли свой вклад в падение царизма. "Российская демократия повергла в прах вековой деспотизм царя и вступает в вашу семью полноправным членом и грозной силой в борьбе за наше общее освобождение. Наша победа есть великая победа всемирной свободы и демократии. Нет больше главного устоя мировой реакции и "жандарма Европы" [15]. Свою задачу они видели в сохранении единства революционной демократии с целью осуществления буржуазно-демократической революции. Именно это убеждение подтолкнуло Церетели поддержать идею вхождения в коалиционное правительство в начале мая.

Вопрос о войне и мире вскрыл и углубил различия между двумя концепциями нации. В теории Временное правительство одобрило мирную политику, предложенную Церетели и нашедшую отражение в обращении Петроградского Совета к народам всего мира от 14 мая, в котором защита революции связывалась с борьбой за мир. Эта политика, известная как революционное оборончество, требовала от правительства сделать все возможное для установления демократического мира, основанного на отказе от всех аннексий и контрибуций, подчеркивая при этом, что характер войны изменился в результате свержения самодержавия. Типичная формулировка этой идеи содержалась в статье А.Гуковского "Социализм, война и отечество", опубликованной в эсеровской газете "Дело народа": "Всякое вооруженное насилие и вторжение извне также возмущают совесть и честь социалиста, как внутренний гнет" [16]. Таким образом, несмотря на то, что риторика была глубоко интернациональна по своей сути, в основе политики революционного оборончества лежало горячее желание защитить Россию, воспринимаемую как революционную и демократическую нацию. Эта приверженность идеям обороны способствовала некоторому стиранию разногласий между интернационалистами и оборонцами в рядах социалистических партий умеренного толка. Необходимо отметить, тем не менее, что риторика нации, взятая на вооружение оборонцами, отличалась от риторики нации, используемой интернационалистами, имевшими большинство в Петроградском совете. 14 мая состоялось чрезвычайное заседание на Невском судостроительном заводе, на котором почетные ветераны русского рабочего движения Г.В. Плеханов, Вера Засулич и Лев Дейч призвали рабочих поддержать продолжение войны. Плеханов, отстаивая идею отечества, как принадлежащего трудовому народу, заявил: "Отечество, это та обширная земля, которую населяет трудящаяся масса русского народа. Если мы любим эту трудящуюся массу, мы любим свое отечество. А если мы любим свое отечество, мы должны защищать его" [17]. Политическая цель Плеханова подавить растущие сомнения в необходимости продолжения войны носила даже более консервативный характер, чем в рядах его соратников интернационалистов. Тем не менее его концепция нации была на самом деле более радикальной, чем их концепция революционной демократии, так как, несмотря на его меньшевистские убеждения, он использовал концепцию трудового народа, которая была центральной в дискурсе эсеров и которая, как мы позднее увидим, оказала решающее влияние на преобразование буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Хорошо известно, что П.H. Милюков, министр иностранных дел, так и не принял политику революционного оборончества. Как лидер кадетов он был убежденным сторонником совместных действий союзников для продолжения войны до победного конца, до полного уничтожения германского милитаризма. Эта политика, без сомнения, имела широкую поддержку, особенно среди так называемых обывателей, представлявших собой неорганизованную и принципиально аполитичную прослойку общества. Во время демонстрации с участием инвалидов войны 16 апреля 1917 г. были выдвинуты, например, такие лозунги, как: "Кровь наша не должна быть пролита напрасно", "Ленин и компания обратно в Германию". Этот "ура-патриотизм", тем не менее, не был популярен среди рабочих и солдат. Насколько мы можем судить из принятых ими резолюций, политика революционного оборончества гораздо лучше соответствовала их настроению. Рабочие в особенности придерживались интернациональных убеждений, призывая своих братьев в других странах оказать давление на правительство с целью положить конец войне; они были идеалистами в своем желании установить мир на принципах, отвергающих империалистические интересы; и они уже начали подвергать сомнению приверженность Временного правительства мирной политике. В то же время под этим интернационализмом и горячим желанием мира скрывался настоящий патриотизм, готовность защитить так тяжело завоеванную свободу. Типична pезолюция рабочих харьковских объединенных мастерских Брауна, которая, несмотря на яростное осуждение войны, заявляла: "До тех пор, пока немецкая демократия не возьмет в свои руки власть, наша армия должна стальной стеной стоять перед вооруженным с головы до ног прусским милитаризмом, ибо победа прусского милитаризма есть гибель нашей свободы" [18].

Однако взаимоотношения между национальным и классовым самосознанием даже в лучшие времена революции находились в потенциальном конфликте. Общественная реакция на забастовки в начале марта с целью установления восьмичасового рабочего дня наглядно демонстрирует этот факт. Многие солдаты видели в этих забастовках проявление того, что рабочие были равнодушны к судьбам родины, к положению своих братьев на фронте и старались извлечь выгоду для себя, добиваясь сокращения рабочего дня. Это недоверие было использовано прессой различных направлений и в какой-то степени Временным правительством. 23 марта правительство обратилось к рабочим металлургических заводов Урала: "Рабочие, не оставьте беззащитными ваших братьев в окопах. Помогите им сохранить жизнь, отразить врага, обеспечить России свободу" [19]. Рабочие яростно отвергли эти заявления, обвинив "буржуазных" политиков и журналистов в намеренном желании разделить народ в их эгоистических классовых интересах. Резолюция общего собрания рабочих заводов "Лангенциппен" (Langenzippen) в Петрограде протестовала против обвинения буржуазной печати "в нежелании работать" и "непатриотичности" рабочих и заявляла о готовности трудиться "сколько бы ни понадобилось", но "для оборонительной войны, а не захватной" [20]. Рабочие модельных цехов Путиловского завода согласились, что, "если явится потребность, то выражаем желание работать сверхурочно впредь до слияния трудящегося народа всех стран" [21]. Из этих конфликтов становится очевидной сложность политических симпатий рабочих: с одной стороны, они не хотели предстать как ставящие классовые интересы над национальными, с другой - они были убеждены, что солдаты были введены в заблуждение буржуазией, которая стремилась разделить трудящихся для более легкого контроля над ними.

Впpочем, весной 1917 г. национальные чувства взяли верх над классовыми. Лучшим доказательством этому может служить неудача большевиков в обеспечении поддержки своей политики в войне. В.И. Ленин мог настаивать на том, что природа войны не изменилась, что она осталась империалистической войной, которая должна быть преобразована в гражданскую войну. Но эта точка зрения не отвечала настроениям большинства рабочих и солдат, что проявилось в отношении к тактике братания, отстаиваемой Лениным после возвращения в Россию. В стиле скорее утопическом, чем предательском Ленин утверждал: "Ясно, что братание есть путь к миру. Ясно, что этот путь идет не через капиталистические правительства, не в союзе в ними, а против них. Ясно, что этот путь развивает, укрепляет, упрочивает братское доверие между рабочими различных стран" [22]. 26 апреля М.В. Фрунзе был послан для организации братания на западном фронте. Но почти в то же самое время эта тактика была осуждена Петроградским советом на том основании, что "теперь солдаты защищают не царя и помещиков, а революцию". Совершенно очевидно, что, заняв эту позицию, они чувствовали поддержку громадного большинства солдат. Как было отмечено в резолюции Владимирского губернского съезда советов: "Съезд признает братание на фронте вредным для дела свободы и позорящим честь армии и революционного народа". Необходимо отметить, что в резолюции говорилось не о "чести православного воинства", а о чести революционной армии, для которой унизительно братание с армиями нереволюционными" [23]. Большевикам не оставалось ничего другого, как отказаться от политики братания.

Только благодаря провалу Июньской обороны, большевики получили общественную поддержку. Бессмысленное кровопролитие, наряду с недоверием к Временному правительству, вызвало еще более сильные нападки на войну со стороны рабочих и солдат. Это новое настроение нашло отражение в резолюции митинга рабочих и солдат Тифлисского гарнизона: "Единственным результатом этого наступления есть новые миллионы жертв, искалеченных и изуродованных, новые горы окровавленного человеческого мяса и новое торжество капиталистов и буржуазии" [24]. Этот акцент на связь войны с частными интересами капиталистов свидетельствовал не только о растущем влиянии большевистской политики, но и о повсеместном принятии классового языка нижними слоями общества, которые не ассоциировались с поддержкой ни одной политической партии. Этот язык определялся не столько четкими социальными терминами марксистской терминологии, сколько всеобъемлющим языком низов против верхов, солдат против офицеров, крестьян против помещиков, рабочих против работодателей. Он был часто используем в откровенно грубой форме. Борис Колоницкий показал, что термин "буржуи" не имел четкого классового смысла для городских масс и использовался как оскорбление против практически всех воображаемых классовых врагов [25]. Такие термины, как "буржуи" или "господа", означали отказ низших классов и далее мириться с их угнетенным положением, их решимость изменить существовавшие веками принципы распределения богатства и власти.

К концу лета 1917 г. растущая поляризация общества породила раздвоение политического языка. В то время как образованная и владеющая собственностью элита говорила на языке нации, трудящиеся массы употребляли воинственный язык класса. Так, в частности, кадеты использовали еще более экстравагантную риторику "нации на осадном положении". Столкнувшись с неорганизованными восстаниями и социальными беспорядками, они стали выискивать внутренних врагов и призывать к установлению порядка. Их риторика была проникнута такими терминами, как "измена", "трусость", "дезертирство", "предательство". Говоря о нации, они как бы намеренно использовали архаические идиомы в слабой надежде, что обращение к народной памяти поможет предотвратить истребление нации в результате германского наступления, а также размежевание общества в результате классового конфликта. "В дни великих национальных опасностей, когда на Руси казалось все потерянным, всегда спасал Россию глубокий здравый смысл ее народа. И триста лет тому назад, в годину внутренней разрухи и иноземного плена, пришли в Москву для спасения родины низинные люди. К ним из сердца России и на этот раз обращаем мы наш клич. Пусть, малодушные люди российской державы, рассеется поднятый врагами дьявольский туман, которым хотели ослепить ваши очи. Верните России возможность стать счастливой и великой и последними усилиями оправдать жертвы наших верных сынов России" [26]. Со своей стороны, большевики использовали такой же бескомпромиссный язык класса, отрицающий все призывы к национальному сознанию в пользу классовой борьбы и пролетарского интернационализма. Сейчас вряд ли можно всерьез отнестись к их утверждению, что Временное правительство намеренно саботировало войну с целью подавления революции. Газета иваново-вознесенских рабочих писала: "Увидев, что золотой дождь перестает литься в карманы, буржуазия пошла на предательские действия на фронте и саботаж в тылу, она мечтает о том, чтобы немецкими штыками подавить революцию" [27]. Таким образом, создается впечатление, что конфликты, раздиравшие общество, накалили политику до такой степени, что низы и верхи стали использовать язык, одинаково неприемлемый друг для друга. Тем не менее, на эмоциональном уровне трудно представить, как классовое самосознание могло полностью подменить национальное самосознание; и если посмотреть даже на риторику большевиков, становится очевидно, что отрицание языка нации не было столь категоричным, как кажется на первый взгляд. Лишь немногие большевики были способны последовать ленинской политике пораженчества до той черты, где они могли предстать предателями своей родины. Они отвергли утверждение о своей непатриотичности и настаивали, что именно они, а не те, кто говорит от лица всей нации, и являются истинными патриотами. Так, например, завоевание Риги немцами 21 августа 1917 г. было описано в газете иваново-вознесенских большевиков под заголовком "Буржуазия перестает любить отечество". "Недавний рижский прорыв, в ликвидации которого принимали деятельное участие сознательные пролетарские (большевистские) полки, легшие на поле брани, был вызван предательством верховного главнокомандующего Корнилова, задумавшего вину за это свалить на революцию, создать в массах настроение в свою пользу как "спаситель отечества" и привести страну к генеральской диктатуре" [28]. Так же яростно большевики отвергли утверждение, что это их агитация вызвала развал (дезорганизацию) армии. "Никогда мы не стремились дезорганизовывать фронт путем призыва к отступлению, к бегству. Солдаты, сознательно понимающие идеи революционной социал-демократии, не причастны к этому позору". Так же остро pабочие-большевики реагировали на обвинения в том, что они выступают за установление сепаратного мира с Германией [29].

Подобная болезненная реакция большевиков на обвинения в отсутствии патриотизма отражала тот факт, что, хотя формально политический дискурс мог быть поляризован между языком нации и языком класса, характер политических настроений в обществе определялся сложными переплетениями классового и национального сознания. Будучи приверженцами классовой политики, они в то же время понимали, что не могут позволить своим врагам овладеть монополией на такой влиятельный в эмоциональном отношении политический язык, как язык нации. Поэтому большевики не только оспаривали утверждение элиты об отсутствии патриотизма, но и пытались выдвинуть альтернативное понимание концепции национального государства. Преследуя эту цель, они использовали такие народнические идиомы, как "трудовой народ" или "трудящиеся", которые являлись составляющими элементами древнего представления о русском народе, всегда находившегося в оппозиции к концепции официальной России. Так, в глубине народной культуры существовало понимание "истинной нации", как сообщества трудящихся, то есть тех, кто своим потом и кровью производит национальные богатства. Исходя из логики этой концепции, претензия всех тех, кто не трудится, быть членом нации, выглядела по меньшей мере необоснованной. Это было тонко подмечено офицером-дворянином, написавшем о солдатах под его командованием: "Между нами и ими пропасть, которую нельзя перешагнуть. Как бы они не относились лично к отдельным офицерам, мы остаемся в их глазах барами. Когда мы говорим о народе, мы разумеем нацию, когда они говорят о нем, то разумеют демократические низы. В их глазах произошла не политическая, а социальная революция, от котоpой мы, по их мнению, проиграли, а они выиграли" [30]. В этом народническом понимании русской идеи только рабочие, крестьяне и солдаты могли претендовать на роль выразителей национальных интересов. Само собой разумеется, согласно этому пониманию, верхи представляли собой частный интерес, и их стремление говорить от лица нации было продиктовано лишь эгоистическими интересами. Как писал рабочий Л. Рыжик в газете "Донецкий пролетариат": "Их теперешний патриотизм заключается в травле крестьян, рабочих и солдат. Никогда вам не удастся рассорить трех братьев кровных, родственных друг другу телом и духом. Помните, что русский солдат, рабочий и крестьянин - это подлинная Россия" [31]. И хотя эта концепция очевидно расходилась с маркистской теорией, она могла быть трансформирована в более "чистый" классовый язык. Как заявили рабочие Военно-подковного завода в Петрограде: "Только беднейшие классы населения с пролетариатом во главе могут решительно подавлять алчные аппетиты хищников мирового капитализма, вывести исстрадавшуюся страну на широкую дорогу, дать мир, хлеб, свободу и освободить человечество от уз капиталистического рабства" [32]. Таким образом, большевики оказались способными взять за основу традиционную концепцию национальной идеи, которая базировалась на двойственном понимании термина "народ", как "нации" и как "простых людей". Этот термин послужил мощным связующим звеном между классовым и национальным сознанием в процессе радикализации общественно-политических настроений. Представление о том, что истинная нация - это трудящийся народ, сыграло огромную роль в завоевании общественной поддержки большевиками и эсерами в конце 1917 г. Таким образом, нам не следует преувеличивать степень торжества классового сознания над национальным в 1917 г., даже в наиболее воинствующей риторике класса можно было услышать отголосок этой народнической версии национальной идеи. Когда рабочие и солдаты поддержали большевиков в их стремлении установить советский режим, они пошли на это, искренне веря, что в этом заключается спасение России.

В заключение я не намерен утверждать, что П.Б. Струве заблуждался, полагая, что классовое самосознание восторжествовало над национальным. Было бы нелепым ставить под сомнение центральное значение классовой борьбы в политике 1917 г. Начиная с 1915 г. национальное и классовое самосознания стали все больше расходиться в противоположных направлениях, хотя Февральская революция на короткое время и приостановила этот процесс.

К лету 1917 г. политика поляризовалась между языком нации, используемым в основном привилегированными и образованными слоями общества, и языком класса, используемым угнетенными классами. В этом смысле Струве был прав. Тем не менее я стремился показать, что под формальным дискурсом политики классовое и национальное самосознания не могут рассматриваться как взаимоисключающие; их соотношение может принимать различные формы. Я подошел к политической риторике более серьезно, чем многие историки революции 1917 года, для того, чтобы показать, что в период с февраля по октябрь, в соответствии с меняющейся политической конъюктурой, существовал широкий спектр различных комбинаций между классовым и национальным сознанием как в рядах политических партий, так и между отдельными классами. И последнее. Я намеренно рассматриваю политику 1917 г. с точки зрения длительной перспективы. Во многих дискуссиях о русской идее, имевших место после падения коммунизма, иногда утверждалось, что национальное самосознание всегда было слабым в России и что классовое сознание стало своего рода компенсацией этому. Я попытался косвенным образом оспорить эту точку зрения. Национальное сознание было прочнее, а классовое сознание не настолько ярко выраженным в позднеимперской России, как это предполагают многие историки. Хотя я не думаю, что можно объяснить торжество классового сознания над национальным без соответствующего изучения политической культуры, формировавшейся в России на протяжении многих веков, я все же считаю нужным признать важность кратковременных факторов, относящихся непосредственно к первой мировой войне и к политической ситуации в 1917 г. Очевидный решительный отказ от национальной идеи был моментальной реакцией на неспособность Временного Правительства положить конец войне. Классовое самосознание, мобилизованное политикой большевиков, оказалось эфемерным и неспособным продержаться в течение зимы 1917-1918 гг., в то время как национальное самосознание оказалось на поверку гораздо более устойчивым.

**Список литературы**

[1] Струве П.В. Исторический смысл русской революции и национальные задачи. // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990. С. 235.

[2] В. Аnderson. Imagined Communities: Reflections on Origins of Nationalism. London, 1983. P. 15.

[3] Муравьев В.Н. Национальная идея // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.

[4] Славянский А. Русская интеллигенция и национальный вопрос // Арсеньев К. и др. Интеллигенция в России. СПб., 1910. С. 232-233.

[5] R. Рipes. Тhе Russian Revolution. New-York, 1990. P. 203.

[6] Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 55.

[7] Шаповалов А.И. По дороге к марксизму. М., 1924. С. 14.

[8] Цит по: Tim McDaniel. Autocracy, Capitalism and Revolution in Russia. Berkley, 1988. P. 198.

[9] Шаповалов A.И. Указ. соч. С. 14.

[10] R. Zelnik ed. and trans. A Radical Worker in Tsarist Russia. The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov. Stanford, 1986. P.90.

[11] Фролов А. Пробуждение. Киев, 1923. С. 199.

[12] Hubertus F. Jahn. "For Tsar and Fatherland? Russian Popular Culture and the First World War" in Stephen P. Frank and Mark D. Steinberg. Cultures in Flux. Princeton, 1994. P. 131-146.

[13] Копейка. 1917. 4 марта.

[14] Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957. С. 420.

[15] Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году: Документы и мaтериалы. Л., 1991. С. 323.

[16] Цит. по: Шишкин В.Ф. Великий Октябрь и пролетарская мораль. М., 1976. С. 42.

[17] Единство. 1917. 17 мая.

[18] Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957. С. 466.

[19] Экономическое положение в России накануне Великой Октябрьской революции. М., 1957. Т. 1. С. 544.

[20] Дело народа. 1917. 30 марта.

[21] Единство. 1917. 3, 31 марта.

[22] Ленин В.И. Полное собраниe сочинений. М., 1962. Т. 31. С.459-460.

[23] Шишкин В.Ф. Указ. соч. С. 53.

[24] Там же. С. 55.

[25] Boris I. Kolonitskii. Antibourgeois Propaganda and Anti-"Burzhwi)" Consciousness in 1917. Russian Review, vol. 53. 1994. P. 183-196.

[26] Революционное движение в России в августе 1917 года. М., 1959. С. 362.

[27] Шишкин В.Ф. Указ. соч. С. 51.

[28] Революционное движение в России в августе 1917 года. С. 103.

[29] Звезда. 1917. 16 июля.

[30] Из офицерских писем // Красный архив. 1932. N 50-51. С.200.

[31] Цит. по: Шишкин В.Ф. Указ. соч. С. 48.

[32] Революционное движение в России в августе 1917 года. С. 407.